

*Хорошему человеку,  
хорошей сестре  
Нильгюн Дарвыноглу  
(1961–1980)  
посвящается*

Когда нам кажется, что человек, пробуждающий в нас интерес, живет какой-то неведомой нам, загадочной, но оттого исполненной очарования жизнью, когда мы думаем, что сможем понастоящему начать жить лишь благодаря этому человеку, — что это, если не начало любви?

*Марсель Пруст  
в переводе Я. К. Караосманоглу*

## Введение

Эту рукописную книгу я нашел в 1982 году, когда летом, как это было у меня заведено, неделю рылся в запущенном «архиве» городских властей Гебзе<sup>1</sup>. Она лежала на дне пыльного сундука, до отказа набитого султанскими указами, купчими на земельные участки, судебными актами и прочими документами. Я сразу обратил на нее внимание: она была в аккуратном переплете из синей мраморной бумаги, напоминающей о сонных грезах, написана четким, разборчивым почерком — среди блеклых официальных документов она прямо-таки сияла. Чьей-то рукой — не той, что написала саму книгу, — на первой странице, словно бы для того, чтобы еще больше заинтриговать меня, было выведено единственное заглавие: «Пасынок одеяльщика». Поля и пустые места заполнялись детскими рисунками — человечками с маленькими головами, одетыми в испещренные пуговицами кафтаны. Не отрываясь, с большим удовольствием прочитал я книгу до самого конца, а затем, поскольку переписывать ее мне было лень, воспользовался доверием служителя, который из большого почтения не следил за мной, и быстро засунул ее в портфель — иными словами, просто украл из этой свалки, которую даже молодой каймакам<sup>2</sup> стеснялся называть архивом.

Поначалу я не очень хорошо представлял себе, что делать с книгой, — только снова и снова ее перечитывал. К истории как к науке я все еще относился с недоверием, и потому в рукописи меня интересовала не столько ее научная, культурная, антропологическая или историческая ценность, сколько само повествование. А это заставляло меня задуматься об авторе. Поскольку в то время мы с некоторыми моими коллегами были вынуждены уйти из университета, я обратился к делу, которым когда-то занимался мой дед, — к составлению энциклопедий. Не вставить ли, подумал я, статью об авторе книги в «Энциклопедию знаменитых людей», в которой я отвечал за историческую часть?

Этой задаче я стал уделять все время, свободное от работы над энциклопедией и застолий. Обратившись к основным историческим источникам той эпохи, я сразу заметил, что некоторые события, описанные в книге, не вполне соответствуют действительности. Скажем, во время пятилетнего пребывания Кёпрюлю<sup>3</sup> на посту великого визиря в Стамбуле и в самом деле случился большой пожар — но нет никаких свидетельств о сколько-нибудь серьезной эпидемии, тем более о такой опасной вспышке чумы, какая описана в книге. Имена некоторых визирей были написаны неправильно, другие перепутаны, а третьи и вовсе изменены. Имена главных астрологов не совпадали с указанными в дворцовых документах, но я подумал, что у автора были на то причины, и не стал на этом останавливаться. С другой стороны, события,

о которых идет речь в книге, как правило, соответствуют нашим «знаниям» о той эпохе, и порой я подмечал это даже в мелких деталях: скажем, убийство главного астролога Хусейна-эфенди или охота Мехмеда IV на зайцев в окрестностях дворца Мирахор очень похоже описаны у Наимы<sup>4</sup>. Я подумал, что автор книги, который, похоже, любил читать и обладал хорошим воображением, изучил, должно быть, немало подобных источников и кое-что из них позаимствовал для своего рассказа; он говорит, что был знаком с Эвлией Челеби<sup>5</sup>, но, скорее всего, на самом деле только читал его сочинения. Впрочем, некоторые другие примеры наводили меня на мысли о том, что могло быть иначе, и я не терял надежды напасть на след моего автора, но упорные поиски в стамбульских библиотеках лишь делали ее все более призрачной. Мне не удалось отыскать ни одной книги, ни одного трактата из тех, что были преподнесены султану Мехмеду IV с 1652 по 1680 год, ни в библиотеке дворца Топкапы, ни в других библиотеках, куда, как мне представлялось, эти сочинения могли попасть из дворцового собрания. Я напал лишь на один-единственный след: в этих библиотеках были книги, переписанные каллиграфом-левшой, которого упоминает мой автор. Некоторое время я пытался идти по этому следу, но безрезультатно: из итальянских университетов, которые я завалил запросами, приходили неутешительные ответы; попытки найти имя автора, не названное в книге, но подсказанное самим ее текстом, на кладбищах Гёбзе,

Дженнетхисара и Ускюдара окончились ничем. Я бросил поиски и написал статью для энциклопедии на материале самой книги. Как я и боялся, статью не напечатали — не потому, что она была недостоверна с научной точки зрения, а потому, что человека, о котором в ней шла речь, признали недостаточно знаменитым.

Может быть, именно оттого моя одержимость этой историей еще больше усилилась. Я даже подумывал уволиться, но я любил свою работу и своих коллег. Одно время я рассказывал о книге всем и каждому — с таким волнением, будто не нашел ее, а сам написал. Чтобы возбудить любопытство собеседника, я говорил о ее символическом значении, о том, как она перекликается с современной действительностью, о том, что, прочитав ее, я лучше понял наши дни, и прочее в том же духе. Мои речи вызывали интерес у молодых людей, мысли которых были куда больше заняты политикой, социальной напряженностью, вопросами отношений Востока и Запада и проблемами демократии, однако и они, подобно моим приятелям по застольям, вскоре забыли о ней. Один мой друг, профессор, прочитавший книгу по моей просьбе, сказал, возвращая ее мне, что в деревянных домах стамбульских переулков хранятся десятки тысяч рукописей, в которых подобного рода историй пруд пруди, и если обитатели дома не прячут эти книги куда-нибудь на верхнюю полку шкафа, приняв за Коран, то страница за страницей расходуется на растопку печки.

В конце концов я решил, что эту историю, к которой я возвращался снова и снова, нужно опубликовать — и в этом меня поддержала одна девушка, не выпускавшая из рук сигарету. Читатель увидит, что, когда я переводил книгу на современный турецкий язык, меня совершенно не волновали вопросы стиля. Работа шла так: прочитав несколько строк рукописи, лежащей на столе, я шел в другую комнату, где на другом столе лежал лист бумаги, и пытался передать содержание прочитанного современными словами. Заглавие книге дал не я, а издательство, согласившееся ее напечатать. Возможно, увидев посвящение на первой странице, читатель спросит, не скрывается ли в нем некий подтекст. Мне кажется, это болезнь нашего времени — во всем видеть какие-то связи. Не устоял перед этим недугом и я, потому и публикую эту историю.

Фарук Дарвыноглу

---

<sup>1</sup> Гевзе — небольшой город в азиатской части Турции, неподалеку от Стамбула. (Здесь и далее — примеч. перев.)

<sup>2</sup> Каймакам — глава районной администрации.

<sup>3</sup> [Мехмед-паша] Кёпрюлю (1575?–1661) — великий визирь Османской империи в 1656–1661 годах.

<sup>4</sup> [Мустафа] Наима (1652–1716) — первый официальный летописец Османской империи, занимавший ряд важных должностей при султанском дворе.

<sup>5</sup> Эвлия Челеби (1611–1682?) — знаменитый османский путешественник, автор «Книги путешествий».

# 1

Мы шли из Венеции в Неаполь, когда турецкие корабли преградили нам путь. У нас было всего три суденышка, а их галеры выходили из тумана бесконечной чередой. Наш корабль мгновенно охватила паника, начался переполох; среди гребцов, большинство которых были турками и уроженцами Магриба, послышались радостные возгласы, и мы пали духом. Наше судно, как и два других, повернуло в сторону суши, на запад, но плыло не так быстро, как те. Капитан, опасаясь, что, попав в плен, будет подвергнут жестокой казни, все никак не решался пустить в ход плети, чтобы подгонять рабов-гребцов. Впоследствии я не раз задумывался о том, что трусость капитана изменила всю мою жизнь.

А сейчас я думаю, что моя жизнь изменилась бы именно в том случае, если бы капитан на краткий миг не поддался трусости. Многие знают, что жизнь не predetermined изначально и все, что происходит с людьми, представляет собой, по сути, цепочку случайностей. И все-таки даже те, кому ведома эта истина, в определенный период своей жизни, обернувшись на прожитое, понимают, что события, которые они в свое время воспринимали как случайность, на самом деле были predetermined. Пришла такая пора и для меня, и сейчас, когда я пишу



книгу, сидя за своим старым столом и вспоминая цвета турецких кораблей, выступающих из тумана словно призраки, я думаю, что эта пора — самое лучшее время для того, чтобы начать какую-нибудь историю и рассказать ее до конца.

Два других корабля, проскользнув между турецкими галерами, скрылись в тумане; увидев это, наш капитан почувствовал надежду на спасение и набрался наконец смелости применить плети — но было уже поздно, да и на рабов, почувывших близость свободы, удары не действовали. Разорвав пугающую пелену тумана, перед нами разом возникли разноцветные турецкие галеры, их было больше десяти. Капитан, желая, как мне кажется, справиться не столько с противником, сколько с собственной трусостью и растерянностью, принял решение драться. Он приказал нещадно бить гребцов и готовить к бою пушки, но воинственный дух, вспыхнувший столь поздно, быстро угас. На нас обрушились яростные залпы бортового огня, и, если бы мы не сдались немедленно, наш корабль утонул бы; так что мы решили поднять белый флаг.

Пока мы ждали, когда к нам по безмятежному морю подойдут турецкие корабли, я спустился в свою каюту, навел там порядок, словно ожидал не врагов, которые перевернут мою жизнь, а друзей, пообещавших зайти в гости; потом открыл свой дорожный сундучок и рассеянно перебрал книги. Когда я листал том, который купил во Флоренции за большие деньги, к моим глазам подступили слезы; я

слышал доносящийся снаружи шум, крики и топот, думал, что скоро мне предстоит расстаться с книгой, которую я держу в руках, но хотелось мне думать не об этом, а о том, что написано на страницах книги, словно изложенные в ней мысли, фразы ее и уравнения таили в себе все мое прошлое, которое я не хотел терять. Я бормотал вслух первые попавшиеся строчки, словно читал молитву; мне хотелось сохранить всю книгу в своей голове, чтобы после прихода врагов не думать о них и о тех мучениях, которым они меня подвергнут, а вызывать в памяти краски прошлого, мысленно повторяя милые, с любовью заученные наизусть слова книги.

В те времена я был другим человеком, которого мать, невеста и друзья называли другим именем. Мне и сейчас иногда снится тот, кто был мной, — или тот, о ком я сейчас так думаю, — и я просыпаюсь в холодном поту. Этот человек двадцати трех лет, чей образ является мне в поблекших красках, похожих на неясные, словно увиденные во сне цвета всех тех небывалых стран, неведомых зверей и невероятного оружия, что мы выдумывали в последующие годы, изучил во Флоренции и Венеции «науки и искусства», полагал, что хорошо знает астрономию, математику и физику, был, разумеется, весьма доволен собой, усвоил большую часть того, что было сделано до него, смотрел на все это свысока и не сомневался, что сделает лучше, считал себя умнее и талантливее всех; словом, это был самый обыкновенный молодой человек. Впоследствии, когда мне раз за разом

приходилось придумывать свое прошлое, меня злило то, что я был тем молодым человеком, который рассказывал любимой о своих мечтах и планах, делился мыслями о науке и устройстве мира и восхищение своей невесты воспринимал как нечто само собой разумеющееся. Однако я утешаю себя мыслью, что те, кому достанет терпения дочитать однажды до конца эти мои записки, поймут — тот молодой человек был не я. Возможно, эти терпеливые читатели подумают, как думаю сейчас я, что однажды этот молодой человек, прервавший свой рассказ, чтобы почитать любимые книги, продолжил его с того места, на котором остановился.

Когда турки взяли наш корабль на абордаж, я сложил книги в сундучок и поднялся на палубу. Там было настоящее светопреставление. Всех согнали в кучу и заставили раздеться донага. Я подумал, не прыгнуть ли, пользуясь суматохой, в море, но побоялся, что за мной пустятся в погоню и, поймав, сразу убьют; к тому же я не знал, далеко ли берег. Меня тем временем как будто не замечали. Освобожденные от цепей рабы-мусульмане радостно гомонили, некоторые уже собирались на месте расправиться со своими надсмотрщиками-кнутобоями. Я вернулся к себе. Вскоре меня нашли, стали обыскивать каюту, тащить из нее мои вещи, рыться в сундуках в поисках золота, попутно прихватывая и некоторые мои книги. Затем появился еще один человек, взглянул, как я рассеянно листаю одну из оставшихся книг, и отвел к турецкому капитану.

Капитан, о котором впоследствии я узнал, что был он генуэзцем-вероотступником, отнесся ко мне хорошо, спросил, что я знаю и умею. Чтобы меня не отдали в гребцы, я сразу выпалил, что знаю астрономию и могу находить ночью путь по звездам, но это не вызвало у них интереса. Тогда, надеясь подтвердить свои слова книгой по анатомии, которую у меня не забрали, я назвался врачом. Вскоре ко мне подвели раненого, которому оторвало руку, но я заявил, что не силен в хирургии. Это вызвало гнев, и меня уже собирались посадить на весла, как вдруг капитан, взглянув на мои книги, спросил, могу ли я определять болезни по пульсу и цвету мочи. Я ответил утвердительно; так мне удалось спастись от участи гребца и уберечь несколько своих книг.

Однако это привилегированное положение дорого мне обошлось. Другие христиане, посаженные на весла, сразу же меня возненавидели. Была б их воля, они убили бы меня в трюме, куда нас всех запирали по ночам, но убивать меня они поостереглись, увидев, как быстро я сталкивался с турками. Нашего трусливого капитана посадили на кол, надсмотрщикам отрезали уши, вырвали ноздри и пустили на плоту в море — для устрашения прочих. Когда у некоторых турок, которых я лечил, опираясь не столько на знания анатомии, сколько на здравый смысл, сами собой затянулись раны, все поверили, что я и в самом деле лекарь. Даже некоторые мои враги из числа завистников, говорившие туркам, что я не врач, стали по ночам в трюме показывать мне свои раны.

В Стамбуле нас ожидал пышный прием. Говорили, что сам малолетний султан наблюдал за нами. На всех мачтах были подняты турецкие знамена, а ниже висели взятые на христианских кораблях флаги, изображения Мадонны и перевернутые кресты, в которые юные сорванцы стреляли из луков. Тем временем начали палить пушки, сотрясая небо и землю. Торжества, подобные которым я впоследствии то с грустью, то со скукой, то с радостью не раз наблюдал с суши, все никак не кончались; некоторые зеваки, перегревшись на солнце, падали в обморок. Под вечер мы встали на якорь в Касым-Паша<sup>6</sup>.

Нас сковали цепями, чтобы показать султану; на военных смеха ради надели задом наперед доспехи, капитанам и офицерам на шеи повесили железные обручи и под издевательски-веселую музыку, извлекаемую из взятых на нашем корабле труб и барабанов, всех нас с ликованием повели во дворец. Выстроившийся вдоль дороги народ глазел на нас с веселым любопытством. Султан, которого нам увидеть не удалось, отобрал свою долю пленников, а остальных, среди которых был и я, отправили в Галату, в зиндан<sup>7</sup> Садык-паши.

Зиндан этот был ужасным местом, где в маленьких сырых клетушках заживо гнили в грязи сотни пленников. Я нашел там множество страждущих, на которых мог упражняться в своем новом ремесле, коекому даже сумел помочь. Прописывал я лекарства и стражникам, мучающимся от боли в спине и в ногах. Поэтому меня снова отделили от остальных,

предоставили закуток получше, куда хотя бы проникал солнечный свет. Глядя на ужасное положение других пленников, я пытался заставить себя благодарить судьбу, но однажды утром меня подняли вместе со всеми и велели идти работать. Я заикнулся было о том, что я лекарь, сведущий в медицине, в науке, но надо мной лишь посмеялись: паша велел надстроить стену вокруг своего сада, нужны были люди. По утрам, еще до восхода солнца, нас сковывали цепями и вели за город. Весь день мы собирали камни, а вечером, когда нас, снова сковав, гнали назад, в зиндан, я думал о том, что Стамбул — прекрасный город, но жить здесь нужно не рабом, а господином.

Впрочем, я все же не был простым рабом. Я уже пользовал не только своих гниющих в зиндане товарищей по несчастью, но и свободных людей, прослышавших, что я врач. Большую часть - добываемых врачеванием денег я был вынужден отдавать надзирателям и стражникам, которые тайком выпускали меня из зиндана. Деньги, которые мне - удавалось от них утаить, я тратил на уроки турецкого языка. Учил меня пожилой добросердечный человек, выполнявший различные мелкие поручения паши. Он радовался, видя, как быстро я овладеваю турецким, и говорил, что скоро я стану мусульманином. Когда я отдавал ему деньги за урок, он каждый раз принимал их с великим смущением. Кроме того, я платил ему за то, что он приносил мне поесть: я решил, что буду хорошо заботиться о себе в плену.

Однажды вечером, когда на город опустился туман, в мою каморку вошел надзиратель и сказал, что меня желает видеть паша. Я удивился, пришел в волнение, собрался в мгновение ока. На ум мне взбрело, что кто-нибудь из моих предприимчивых родственников — может, отец, а может быть, будущий тесть — уже прислал за меня выкуп. Когда мы шли по окутанном туманом кривым, узким улочкам, я представлял себе, как тут же отправляюсь домой или встречаю своих родных прямо здесь, словно очнувшись от страшного сна. Ведь иногда, думал я, остающиеся в Европе родные всеми правдами и неправдами находят способ прислать кого-нибудь, чтобы договориться об освобождении пленника; вдруг меня прямо сейчас, пока даже туман еще не рассеялся, посадят на корабль и отправят на родину? Но, едва войдя в особняк пашы, я понял, что так легко не отделаюсь. Люди ходили здесь на цыпочках.

Сначала меня оставили ждать в прихожей, потом провели в покои. Там на скромной постели лежал, натянув на себя одеяло, небольшого роста благообразный человек; рядом сидел другой, высокий здоровяк. Лежавший на постели и была паша. Он велел мне подойти поближе и завел со мной разговор. Отвечая на его вопросы, я поведал, что изучал астрономию, математику и немного — инженерное дело, но разбираюсь также в медицине и многих уже вылечил. Я бы рассказал ему еще что-нибудь, но он прервал меня, сказав, что я, похоже, человек умный, раз так быстро выучил турецкий, и прибавил: он бо

лен, другие лекари не смогли ему помочь, и он, услышав обо мне, желает испытать мои умения.

И паша начал расписывать свою болезнь, причем так, будто во всем мире от нее страдал только он один, потому что враги оговорили его перед Аллахом. А между тем у него была известная нам астма. Я хорошенько расспросил его, послушал кашель, потом прошел на кухню и из того, что там отыскалось, приготовил зеленые мятные пилюли и микстуру от кашля. Поскольку паша опасался, что его могут отравить, я у него на глазах отпил немного микстуры и проглотил одну пилюлю. Паша велел, чтобы меня незаметно вывели из особняка и вернули в зиндан. Ему не хотелось (как объяснил мне позже надзиратель) вызывать зависть у других лекарей. На следующий день я снова отправился к паше, послушал его кашель и дал те же лекарства. Разноцветные пилюли, которые я положил ему на ладонь, обрадовали его, как ребенка. Вернувшись в свою каморку, я стал молиться, чтобы ему полегчало. Наутро подул северо-восточный ветерок. В такую отличную погоду, думал я, и не захочешь, а выздоровеешь, но за мной никто не пришел.

Минул месяц, и меня снова отвели к паше посреди ночи. Паша был на ногах и весьма бодр. Я обрадовался, услышав, как он распекает кого-то, явно не испытывая трудностей с дыханием. Меня он принял ласково, сказал, что я его вылечил, что я хороший лекарь. Чего бы мне хотелось у него попросить? Мне было ясно, что на волю он меня сразу не отпустит, так



что я стал жаловаться на свою темницу и на цепи; сказал, что принесу больше пользы, если буду заниматься медициной, астрономией, наукой, а не выбиваться из сил на тяжелых работах. Уж не знаю, насколько внимательно он меня слушал. Большую часть денег из мешочка, который он мне дал, отобрали стражники.

Еще через неделю ночью ко мне пришел надсмотрщик, велел поклясться, что не сбегу, и снял цепи. Меня по-прежнему водили на работы, но теперь стражники стали относиться ко мне снисходительно. Когда три дня спустя мне принесли новую одежду, я понял, что паша обо мне заботится.

Меня продолжали звать в особняк по ночам. Я давал лекарства старым морским разбойникам, страдающим ревматизмом, и молодым воинам, которые мучились животом; отворял кровь чесоточным и тем, кому не давала покоя головная боль. Однажды мои снадобья за неделю излечили от заикания сына одного из слуг, и он прочел мне стихотворение.

Так прошла зима. Затем меня несколько месяцев не звали в особняк, и я выяснил, что в начале весны паша с флотом отплыл в Средиземное море. Тянулись жаркие летние дни. Некоторые из тех, кто видел охватившие меня отчаяние и злость, говорили, что мне грех жаловаться на мое положение, что врачебное искусство приносит мне хорошие деньги. Один бывший раб, много лет назад перешедший в ислам и обзаведшийся семьей, убеждал меня бежать.

Полезному им рабу, говорил он, турки никогда не позволят вернуться на родину, так и будут морочить голову. Единственный способ обрести свободу — стать, подобно ему, мусульманином. Заподозрив, что все это он говорит, дабы выведать мои намерения, я сказал, что о побеге даже не помышляю. На самом деле мне просто не хватало смелости. Беглые рабы не успевали уйти далеко. Их быстро ловили и подвергали побоям, и потом я по ночам обрабатывал целебной мазью раны этих несчастных.

Ближе к осени паша вернулся с флотом из похода. Он отсалютовал султану пушечными залпами и постарался, как и в прошлом году, устроить городу праздник, но было совершенно очевидно, что на этот раз удача отвернулась от флота. Вот и в зиндан доставили очень мало новых рабов. Потом мы узнали, что венецианцы сожгли шесть турецких кораблей. Я попытался, пользуясь случаем, переговорить с новыми пленниками в надежде получить какие-нибудь известия из родного края, но большинство из них были испанцами, молчаливыми, невежественными и испуганными. Говорить они ни о чем не могли, лишь просили помощи и еды. Только один из них привлек мое внимание: он остался без руки, но не падал духом и утверждал, что ровно то же самое произошло с неким его предком, который, освободившись, уцелевшей рукой стал писать рыцарские романы; мой новый знакомый верил, что его ждет такая же судьба. Впоследствии, в те годы, когда мне приходилось сочинять истории, чтобы жить, я вспоминал этого

человека, который мечтал жить, чтобы сочинять истории. Вскоре в зиндане возникло моровое поветрие, погубившее более половины рабов; я спасся благодаря тому, что щедрыми подношениями умолил стражников оградить меня от встреч с заболевшими.

Тех, кто выжил, стали водить на новые работы — но не меня. По вечерам рабы рассказывали, что ходили в самый дальний конец Золотого Рога, где их отдавали в распоряжение плотников, портных и маляров, которые делали из картона корабли, крепости и башни. Затем нам стало известно, что паша собирается женить своего сына на дочери великого визиря и готовит грандиозные свадебные торжества.

Однажды утром меня вызвали в особняк паши. По дороге я думал, что у него опять начались приступы астмы. Паша был занят, меня посадили в одну из комнат особняка и велели ждать. Вскоре открылась другая дверь и вошел человек лет на пять-шесть старше меня. Я взглянул ему в лицо и внезапно похолодел от страха!

---

<sup>6</sup> *Касым-Паша* и упоминающаяся ниже *Галата* — районы Стамбула на берегу залива Золотой Рог, напротив исторической части города.

<sup>7</sup> *Зиндан* — тюрьма, место содержания пленников.

Человек, вошедший в комнату, был поразительно, невероятно похож на меня. Да это я и был! Такая мысль промелькнула у меня, едва я его увидел. Словно бы некто, желая сыграть со мной шутку, снова ввел меня в комнату через дверь прямо напротив той, в которую я недавно вошел, и сказал мне: посмотри, вот каким ты должен быть на самом деле, вот как ты должен был войти в дверь, вот какие у тебя должны быть жесты, вот как должен был смотреть на тебя сидящий в комнате человек. Мы встретились взглядами и поздоровались. Он, однако, не выказал ни малейшего удивления. Тогда я решил, что не так уж мы и похожи: у него была борода, к тому же я ведь, должно быть, и сам уже забыл, как выглядит мое лицо. Когда он усаживался напротив меня, я вспомнил, что целый год не смотрелся в зеркало.

Вскоре та дверь, в которую вошел я, отворилась, его позвали, а я снова остался ждать. Подумав, я решил, что это все-таки была не мастерски сыгранная шутка, а игра воображения, порожденная моим тоскующим разумом. Дело в том, что в те дни мне постоянно являлись видения: вот я вернулся домой, все встречают меня — и вдруг исчезают, и я понимаю, что сплю в своей каюте на корабле, а все события последних месяцев мне приснились; и другие

утешительные сказки в том же духе мерещились мне. Когда дверь открылась и меня позвали, я готов уже был утвердиться в мысли, будто увидел одну из этих сказок, только увидел наяву, и это знак, что скоро все чудесным образом переменится и будет как раньше.

Паша стоял рядом с человеком, похожим на меня. Он велел мне поцеловать край одежды этого человека, потом спросил, как у меня дела, но, когда я заговорил о тяготах жизни в неволе и своем желании вернуться домой, он и слушать не стал. Паша сказал, что помнит: я рассказывал ему, будто разбираюсь в науке, астрономии и инженерном деле, а как насчет пороха и фейерверков? Я сразу же ответил, что и в этом знаю толк, но, поймав на мгновение взгляд того, другого человека, испугался: уж не готовят ли мне какую-то ловушку?

Паша тем временем заговорил о грядущей свадьбе: она будет такой, какой никогда не бывало, и фейерверк на ней должен быть непохожим на другие, каким-то совершенно невиданным. В прошлый раз, когда фейерверк устраивали по случаю рождения султана, человек, похожий на меня (паша называл его просто Ходжой<sup>8</sup>), готовил огненную потеху вместе с одним мальтийцем, мастером этого дела, но тот с тех пор умер, и паша подумал, не смогу ли я оказаться полезным Ходже. Мы должны друг друга дополнить. Если представление будет хорошим, он, паша, в долгу не останется. Я решил, что настал благоприятный миг, и заговорил о том, что единственное мое желание — вернуться на родину, но паша спросил, ложился ли я с

женщинами с тех пор, как оказался здесь, и, когда я сказал, что нет, объявил, что свобода мне не нужна, ибо на что нужна свобода без этого дела? Он говорил грубыми словами, которые употребляли стражники; видимо, я смотрел на него с преглупым видом, потому что он рассмеялся. Затем паша повернулся к схожему со мной человеку и сказал, что Ходжа будет за меня отвечать. Мы вышли.

Пока мы шли тем утром к дому Ходжи, я размышлял о том, что не знаю абсолютно ничего такого, чему мог бы его научить. Но и он, как оказалось, знал не больше меня. А имеющиеся у нас знания подсказывали нам одно и то же: самое главное — приготовить хорошую камфорную смесь. Поэтому занялись мы тем, что, тщательно взвешивая составляющие, готовили горючие смеси, испытывали их по ночам под городскими стенами и сравнивали результаты. Пока наши помощники под восхищенными взглядами собравшихся детей запускали ракеты, мы сидели в темноте под деревьями, с любопытством и волнением ожидая вспышки, — точно так же, как много лет спустя, только уже при свете дня, будем ждать исхода испытаний нашего чудо-оружия. Затем — иногда при свете луны, а порой и в полной темноте — я пытался записать увиденное в маленькую тетрадь. Возвращаясь под покровом темноты в дом Ходжи, окна которого выходили на Золотой Рог, мы долго обсуждали, чего добились.

Дом этот был маленький, невзрачный и неуютный. Стоял он на кривой улочке, по которой непонятно

откуда текла грязная вода, отчего земля вечно была раскисшей. В самом доме не имелось почти никаких вещей, но каждый раз, когда я входил в него, мне становилось тесно и как-то тоскливо. Может быть, это чувство вселял в меня хозяин дома, который велел называть его Ходжой, поскольку не любил имя, данное ему в честь деда: он наблюдал за мной, словно чему-то хотел от меня научиться, но еще не знал, чему именно. Поскольку мне было непривычно сидеть на тюфяках, которые он клал у стены, то я оставался стоять, когда мы обсуждали наши опыты, а иногда принимался возбужденно расхаживать по комнате. Мне кажется, Ходже это нравилось: сам-то он сидел и мог вдоволь наблюдать за мной, пусть и в тусклом свете лампы.

Ощущая на себе его взгляд, я чувствовал беспокойство из-за того, что он не замечает сходства между нами. Несколько раз мне казалось, что он все же сходство заметил, но постарался не подать виду. Он словно играл со мной: ставил на мне маленькие опыты и что-то неведомое для себя отмечал. В первые дни он смотрел на меня так, будто узнаёт что-то новое и ему становится все интереснее, однако он словно бы не решался сделать еще один шаг, чтобы углубить это странное знание. Именно эта неопределенность угнетала меня, из-за нее мне было так душно в его доме! Конечно, нерешительность Ходжи придавала мне смелости, но не успокаивала. Дважды он пытался вызвать меня на спор: первый раз, когда мы обсуждали наши опыты, и второй — когда он спросил,

почему я до сих пор не принял ислам. Сообразив, чего он хочет, я отвечал осторожно. Он почувствовал это; я понял, что он презирает меня, и разозлился. Возможно, в те дни общим между нами было лишь то, что каждый из нас считал другого достойным презрения. Я старался не показывать этого, поскольку надеялся, что, если фейерверк удастся и все пройдет благополучно, мне разрешат вернуться на родину.

Как-то ночью, когда одна из наших ракет взлетела необычайно высоко, обрадованный успехом Ходжа сказал, что когда-нибудь сможет сделать ракету, которая долетит до самой Луны; дело лишь за тем, чтобы отыскать нужную пороховую смесь и отлить корпус, который можно было бы начинить этим порохом. Я начал говорить, что до Луны очень далеко, но он прервал меня: ему и без того известно, что Луна очень далеко, но разве это не самая близкая к Земле звезда? Я согласился, но он, в противоположность моим ожиданиям, не успокоился и даже еще пуще разволновался, но ничего больше не сказал.

Два дня спустя в полночь Ходжа спросил, почему я так уверен, что Луна — самое близкое к нам небесное тело. Что, если это обман зрения? Тогда я впервые рассказал ему, что изучал астрономию, и вкратце изложил основные законы птолемеевой космографии. Я видел, что он слушает с любопытством, но молчит, потому что не хочет обнаруживать свой интерес. Через некоторое время, когда я замолчал, он сказал, что и сам знаком с учением Батламиуса<sup>9</sup>, но это не мешает ему подозревать, что существует небесное



тело, которое ближе к Земле, чем Луна. Под утро он говорил об этом теле так, будто уже добыл доказательства его существования.

На следующий день он сунул мне в руки написанную скверным почерком книгу. Моих скудных знаний турецкого хватило, чтобы понять: это краткое изложение «Альмагеста»<sup>10</sup>, причем, похоже, не собственно оригинала, а пересказа. Меня заинтересовали только арабские названия планет, да и то не слишком: в то время я не был расположен интересоваться подобными вещами. Увидев, что книга оставила меня равнодушным и я отложил ее в сторону, Ходжа рассердился и сказал: с моей стороны было бы правильнее переступить через свое самодовольство и повнимательнее ознакомиться с книгой, за которую он отдал семь золотых монет. Как послушный ученик, я снова открыл книгу, начал терпеливо перелистывать страницы и наткнулся на примитивную схему небесной сферы. Планеты были расположены вокруг Земли на безыскусно начерченных орбитах, причем если порядок орбит художник обозначил верно, то о расстояниях между ними не имел ни малейшего представления. Затем я заметил маленькую звездочку, изображенную между Землей и Луной; приглядевшись, я понял, что ее пририсовали позднее — чернила были совсем свежие. Пролистав книгу до конца, я отдал ее Ходже. Он заявил, что найдет эту маленькую звездочку, и было ясно, что говорит он совершенно серьезно. Я промолчал, и наступила тишина, раздражавшая его не

меньше, чем меня. Поскольку ни одна из наших ракет так и не взлетела настолько высоко, чтобы навести нас на разговор об астрономии, этой темы мы больше не касались. Наш маленький успех оказался случайностью, чьей тайны мы так и не раскрыли.

Но вот в том, что касалось яркости и блеска огней, мы изрядно преуспели, и секрет этого достижения нам был известен: обходя одну за другой стамбульские лавки, Ходжа нашел у кого-то из торговцев желтоватый порошок, названия которого купец и сам не знал (мы решили, что это смесь серы и медного купороса); порошок этот придавал пламени великолепный блеск. Затем, желая, чтобы пламя сияло разными цветами, мы добавляли к нашему порошку все, что только могли придумать, но всего-то и получили, что едва отличимые друг от друга светло-коричневый и бледно-зеленый. Ходжа, впрочем, говорил, что ничего лучше этого Стамбул все равно никогда прежде не видел.

Так оно и было. После нашего представления, устроенного на вторую ночь свадебных торжеств, все лишь о нем и говорили — даже наши враги, которые строили козни, чтобы порученное нам дело передали им. Когда я услышал, что на противоположный берег Золотого Рога теперь придет посмотреть на фейерверк сам султан, мне стало не по себе; я перепугался: вдруг что-нибудь пойдет не так и я еще долгие годы не смогу вернуться на родину? Когда велели начинать, я забормотал слова молитвы. Сначала, чтобы поприветствовать гостей и подготовить их к

представлению, мы запустили вертикально вверх ракеты с бесцветным пламенем, а сразу за ними привели в действие машину с большим железным ободом, которую мы с Ходжой называли «мельницей». Небо мгновенно окрасилось в красный, желтый и зеленый; раздался ужасный грохот, еще более внушительный, чем мы ожидали. Взлетали ракеты, обод крутился все быстрее и быстрее и вдруг остановился, осветив все вокруг как днем. Мне на мгновение показалось, что я в Венеции; впервые в жизни подобное представление я увидел восьмилетним мальчком и тогда, как и сейчас, был несчастен, потому что мой новый красный кафтан надели не на меня, а на моего старшего брата, чья одежда порвалась, когда мы подрались накануне. Пламя, вылетающее из ракет, было таким же красным, как насилиу напаянный на брата кафтанчик с множеством пуговиц (пуговицы тоже отливали красным) — мой кафтанчик, который я не смог надеть в ту ночь и поклялся не надевать уже никогда.

Затем пришел черед устройства, которое мы называли «источник»: из-под крыши на высоте в пять человеческих ростов потек вниз огонь, который лучше всего было видно людям на противоположном берегу; а когда следом из «источника» начали вылетать ракеты, зрители наверняка восхитились не меньше нашего, но мы хотели поразить их еще сильнее. На воде Золотого Рога уже покачивались плоты. Сначала загорелись картонные крепости и замки, испуская из башен ракеты; это зрелище символизировало победы

минувших лет. Проплыли парусники, захваченные в год моего пленения, и другие корабли обрушили на них дождь из ракет; так я снова пережил день, когда потерял свободу. Картонные корабли загорелись и начали тонуть, и с обоих берегов понеслись восторженные крики: «Аллах! Аллах!» Тогда мы привели в движение драконов, из ушей и ртов которых вырывались языки пламени. По нашей воле драконы сцепились друг с другом в яростной схватке; как мы и задумали, поначалу ни один не мог победить; мы еще больше накалили атмосферу, пуская с берега ракеты, а потом, когда они отгремели и стало чуть темнее, наши люди на плотках принялись крутить колеса, и драконы начали медленно подниматься к небу. Зрители завопили от восторга, смешанного со страхом; когда драконы снова с грохотом обрушились друг на друга, с плотов разом запустили все оставшиеся ракеты; прикрепленные к туловищам драконов фитили вспыхнули именно в тот момент, когда было нужно, и все вокруг, как мы и замыслили, превратилось в геенну огненную. Я понял, что мы добились успеха, когда услышал, как рядом рыдает маленький мальчик; его отец, забыв про ребенка, с открытым ртом таращился в пылающее страшным огнем небо. Теперь-то мне будет позволено вернуться домой, думал я. Тем временем в самое сердце пылающего ада, никем не замеченный, вплыл маленький черный плот, везущий на себе создание, которое я прозвал шайтаном; он был увешан таким количеством ракет, что мы боялись, как бы плот вместе с нашими людьми не взлетел на

воздух. Но все прошло как по маслу. Когда дерущиеся драконы, израсходовав свой огонь, начали исчезать из виду, ракеты, прикрепленные к шайтану, одновременно вспыхнули и он взвился в небо; затем из его тулова посыпались огненные шары, с треском взрывающиеся в воздухе. Подумав о том, что сейчас весь Стамбул замер в страхе и ужасе, я почувствовал сильное волнение, словно мне тоже стало страшно, словно я наконец отважно приступил к тому, чем хотел заниматься всю жизнь, словно мне сделалось уже совершенно не важно, в каком городе я нахожусь. Мне хотелось, чтобы шайтан всю ночь висел там, над городом, разбрасывая во все стороны пламя. Но он, поколыхавшись немного из стороны в сторону и не причинив никому вреда, под восторженные крики, летевшие с обоих берегов, погрузился в залив. Уходя под воду, он продолжал разбрасывать пламя.

На следующее утро паша, словно в сказке, передал мне через Ходжу мешочек с золотыми монетами. Он сказал, что остался очень доволен зрелищем, но победа шайтана его немного напугала.

Мы устраивали свое представление еще десять ночей. Днем мы приводили в порядок обгоревшие сооружения и придумывали, каким бы еще зрелищем поразить народ, пока пригнанные из зиндана пленники начинали ракеты порохом. Один раб подорвал десять мешочков пороха, обжег себе лицо и ослеп.

Когда свадебные торжества закончились, наши встречи с Ходжой прекратились. Избавившись от общества этого беспокойного человека, чей завистливый